



## ФИЛОЛОГ ДОВЛАТОВ: ЗАЧЕТ ПО КРИТИКЕ

«Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую, величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось.

Существуют в мире точные науки. А значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака» («Чемодан»).

Сергей Довлатов проучился на филфаке два с половиной года (в одном из писем он гордо говорит о девяти годах) и был — вполне заслуженно отчислен за неуспеваемость. «В январе напротив деканата появился список исключенных. Я был в этом списке третьим, на букву „Д“. Меня это почти не огорчило. (...) Я ждал этого момента. Я случайно оказался на филфаке и готов был покинуть его в любую минуту» («Филиал»). Сегодня, кстати, фамилия Довлатова значится на сайте выпускников факультета журналистики СПбГУ — как не окончившего курс!

Филология, однако, не только профессия, но — дар, сродный поэтическому, только, возможно, более редкий. Есть крупные специалисты, являющиеся филологами лишь по диплому. Любовь к слову можно подменить биографической фактографией, «умными» теоретическими разглагольствованиями, фельетонной полемикой с другими словолюбями, да мало ли еще чем.

«Бывший филолог в нем все-таки ощущался», — заметил позднее Довлатов об одном из товарищей. Природный филологизм не скроешь и не пропьешь.

Человек («это самореклама и безвкусица»), восклицаящий (в «Соло на ундервуде»): «Самое большое несчастье моей жиз-

ни — гибель Анны Карениной», — или (в повести «Иностранка»): «О Господи! Какая честь! Какая незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!» — природный филолог, какие бы оценки по специальности он ни получал.

Писатель, который специально следит за тем, чтобы слова в предложении не начинались с одной буквы (некоторым собратьям, филфаки окончившим, это казалось чудачеством или просто глупостью), — кто он, если не филолог?

«Довлатов должен был родиться профессором Хиггинсом. Его бросало в жар от неграмотного правописания и произношения. (...) Сергей был нетерпим к пошлым пословицам и поговоркам, к ошибкам в ударениях, к вульгаризмам и украинизмам. Люди, говорящие „позвОнишь“, „катАлог“, „пара дней“, переставали для него существовать. Он мог буквально возненавидеть собеседника за употребление слов „вкуснятина“, „ладненько“, „кушать“ („мы кушали в семь часов“), „на минуточку“ („он на минуточку оказался ее мужем“), „Звякни мне утром“ или „Я подскочу к тебе вечером“» (*Штерн Л.* Довлатов добрый мой приятель. СПб., 2005. С. 82).

Довлатов не просто был природным филологом, он сделал филологию предметом своей литературы. В записных книжках есть анекдоты о филфаковских профессорах и множество размышлений на литературные темы. Одна из сюжетных линий «Филиала» — любовь на Университетской набережной, 11.

Не менее существенно и другое: филологическая прививка (проблемы писательства, журналистики, издательского дела, включая такие «мелочи», как опечатки) становится важной чертой, характеризующей довлатовского лирического героя, того сквозного, лейтмотивного персонажа Алиханова — Довлатова — Далматова — Пожилого писателя, который скрепляет все довлатовские тексты.

Александр Солженицын начинает книгу «Бодался теленок с дубом» с пренебрежительной «оговорки»: «Есть такая немалая, *вторичная* литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рожденная литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значи-

тельно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям все меньше досуга, что кажется: мемуары писать, да еще литературные — не совестно ли?»

Но далее следует огромный том «очерков литературной жизни», да еще со многими дополнениями. Однако для Александра Исаевича он — приложение к первичной литературе «Архипелага ГУЛАГ», «Ракового корпуса» и «Круга первого».

Сергей Довлатов парадоксально начинает именно со «вторичной прозы» («Невидимая книга»), продолжая ее в «Компромиссе», «Невидимой газете», колонках «Нового американца», «Записных книжках». Этот литературный быт он делает литературным фактом, интересным не только профессионалам.

Естественно, тексты, которые привычно называют литературной критикой, занимают скромное, но необходимое место в его собрании-наследии.

Обычно говорят, что в СССР Довлатов напечатал то ли два, то ли три текста. Это неправда. Публикаций с подписью «С. Довлатов» за десятилетие литературных мытарств тоже набралось больше десятка (примерно по одной в год!). Просто рецензии, опубликованные в ленинградских журналах «Звезда» и «Нева», автор хотел забыть, точно так же как не любил вспоминать повести в той же «Неве» и популярнейшей «Юности», попасть в которую хотелось каждому молодому (и не только молодому) автору.

«Портрет хорош, годится для кино, но текст — беспрецедентное г...!» — эпитафия на публикацию в «Юности», честно приведенная в «Невидимой книге».

Довлатову пришлось рецензировать книжки современных авторов (наиболее заметные — сборник юмористических притч Ф. Кривина «Калейдоскоп» и роман А. Розена «Осколок в груди»), историко-литературную монографию А. Горелова «Три судьбы», посвященную Тютчеву, Сухово-Кобылину и Бунину, воспоминания старого большевика и даже книгу о борьбе португальских коммунистов с салазаровской диктатурой.

Увидеть в этой критической продукции хоть что-то неординарное довольно трудно. Она исполнена по унылым общим лекалам, без всякого усилия понимания.

«Мемуары Н. Е. Буренина — еще одно свидетельство той замечательной роли, которую сыграла интеллигенция в революционной борьбе» (*Довлатов С. Н. Е. Буренин. Памятные годы. Лениздат, 1967 // Звезда. 1967. № 8. С. 218*).

«Не все равноценно в этом романе, но автору удалось показать движение человеческих судеб, определенное историческими обстоятельствами. Написано еще одно произведение о гражданской войне и революции — мы снова убеждаемся в неисчерпаемости и величии темы» (*Довлатов С. История, люди. Виктор Бакинский. История четырех братьев. Л.: Советский писатель, 1971 // Нева. 1973. № 2. С. 194*).

«Встреча с новым поэтическим именем должна быть праздником для читателя. Поэт не должен спешить с изданием книги. А издательству следует внимательней относиться именно к первому поэтическому сборнику автора. Иначе праздника не получится» (*Довлатов С. Александр Шкляринский. Городская черта: Стихи. Лениздат, 1971 // Звезда. 1972. № 2. С. 218*).

Лишь изредка в этих безличных отзывах-коротышках возникает лицо рецензента.

В банальном, по оценке Довлатова, повествовании безошибочно выделена точная деталь: «И вдруг среди этих расхожих, маловыразительных трюизмов — осязаемый и горестный штрих блокадной зимы: „До сих пор в ушах этот ужасный скрип пустой ложки по дну...“» (*Довлатов С. Нина Петролли. Первое лето. Л.: Советский писатель, 1975 // Звезда. 1975. № 10. С. 219*).

Неуклюжая, напыщенная похвала, которая так и просится в довлатовские записные книжки в качестве объекта осмеяния («В повести „Анастасия“ судьба Игоря Лукашова становится полем глубокой и убедительной дискуссии» — судьба становится полем!), вдруг, в следующем же предложении, искупается любимым довлатовским оксюмороном: «Есть какое-то грозное обаяние (! — И. С.) в тете Насте, с ее одинокой преданностью вере, с ее аскетизмом и полным самоотречением» (*Довлатов С. Э. Аленик. Анастасия. М.: Советский писатель, 1970 // Звезда. 1971. № 9. С. 218*).

Однако увидеть эти блески мы можем, лишь зная о будущем автора, фамилией которого подписана рецензия.

«Есть люди, у которых разница между халтурой и личным творчеством не так заметна, — признавался Довлатов в интервью. — А у меня, видимо, какие-то другие разделы мозга этим заняты. Если я делаю что-то заказное, пишу не от души, то это очевидно плохо. В результате — неуклюжая глупая публикация, которая ничего тебе не дает: ни денег, ни славы» («Дар органического беззлобия»).

Любопытно, что и у «американского» Довлатова напряжение, конфликт и контраст между своим и заказным, халтурой и личным творчеством, в общем, сохраняется. В эссе «Трудное слово» он выделяет два значения: «В первом случае халтура — это дополнительная, внеочередная, выгодная работа с целью дополнительного заработка. Во втором случае халтура — это работа, изделие, продукт труда, который выполнен быстро, недобросовестно, кое-как. В первом случае понятие „халтура“ носит более или менее позитивный характер, во втором случае — негативный». При этом автопсихологический герой «Филиала» называет себя «опытным халтурщиком».

Тут не обойтись еще без одного понятия, которое припомнил И. Бродский в замечательной статье-некрологе «О Сереже Довлатове»: «Он жил литературной поденщиной, всегда скверно оплачиваемой, а в эмиграции и тем более. (...) Тем не менее это была подлинная, честная, страшная в конце концов жизнь профессионального литератора, и жалоб я от него никогда не слышал».

Есть существенная разница между халтурой и поденщиной. Халтура — работа вполсилы, спустя рукава на заказную, нелюбимую тему. Поденщина — неизбежное для литератора-профессионала отвлечение от главного, труд, тоже не совсем близкий сердцу, но выполненный в полную силу.

«Поденщина» — уничижительно-гордо называлась одна из книжек Виктора Шкловского (1930). На поденщине вполне можно ставить фирменный знак, это дополнительный том в собрании сочинений (если автор такое собрание все-таки заслужил).

Довлатовская «халтура» в первом значении, это, пожалуй, и есть поденщина в смысле Шкловского—Бродского.

Критика, как литературная, так и «говорная» (скрипты на радио «Свобода»), конечно, и в эмиграции была для Довлатова

поденщиной. Но и здесь он, как «опытный халтурщик», нашел способы совмещения ее с основным занятием.

Довлатов вполне предсказуем, когда вынужден писать традиционные рецензии — на книги уже не о пламенных революционерах, а о гибели академика Вавилова или антисоветском юморе. Он ведет себя как филфаковский третьекурсник, сдающий скучный зачет равнодушному преподавателю: честно пересказывает содержание, мимоходом отмечает «художественные особенности», в заключение хвалит или скромно критикует автора за какие-то мелочи: случайный принцип разделения материала по томам или неточное указание опубликованных в СССР стихов Бродского (хотя сам в другой рецензии даст иную цифру). Культурный контекст ограничивается упомянутыми через запятую другими писателями и риторическими выпадами против советских властей (или советской власти).

Но Довлатов мгновенно меняется, подключает другие «разделы мозга», когда от разбора переходит к рассказу, от текстов — к авторам, от высказывания литературных мнений — к выяснению человеческих отношений.

Рецензии превращаются в литературные портреты («Рыжий», «Верхом на улитке») или очерки литературных нравов («Литература продолжается», «Переводные картинки») и смыкаются с такой же «литературой о литературе», как «Невидимая книга» или «Соло на ундервуде».

Создавать портрет может мелкий штрих, кинжально выделенная психологическая деталь, иногда буквально ОДНО слово.

«И, наверное, все чаще рвется из глубины души этого старого, умного, талантливого, циничного и беспринципного человека отчаянный вопль:

— За что боролись?! За что ЧУЖУЮ кровь проливали?!

И гробовая тишина — в ответ» («Чернеет парус одинокий»).

«Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление. (...) По утрам он бегают трусцой. Даже — находясь в командировке. Даже — наутро после банкета в ресторане „Моне“... (...) Попробуйте вообразить Солженицына, бегущего трусцой. Да еще — после банкета в ресторане „Моне“...» («Литература продолжается»).

Критическая статья (рецензия) трансформируется при таком подходе в литературные картинки, *филологическую прозу*.

В «Записных книжках» Довлатов четко, но опять-таки не логически, а наглядно-топографически разграничил точки зрения филолога и критика. «Критика — часть литературы. Филология — косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри. Филолог — с ближайшей колокольни».

В халтурных рецензиях Довлатов даже на современников пытается смотреть равнодушно-почтительно, с ближайшей колокольни. «Рассказ написан легко, изящно, со свойственным Владимову юмором и без малейшего нагнетания ужасов, и все-таки, читая его, испытываешь чувство обреченности и бессилия» («Красные дьяволята»). «Так именно на Западе были изданы лучшие вещи Замятина, Булгакова, Платонова, Войновича, Владимова, Аксенова, Гладилина, Синявского-Терца, Гарика-Губермана, Сагаловского, Камова-Канделя и многих, многих других мастеров горького, язвительного, беспощадного и очищающего смеха» («Антология смеха»). Получается, в общем, безлико, никак, неотлично от потока.

Но когда автор спускается с колокольни, меняет историческую оптику на актуальное выяснение отношений даже с классиками, давно ставшими предметом филологических штудий, картина резко меняется, писательское обаяние возвращается к нему.

Особенно замечательна в этом смысле университетская лекция перед американскими студентами «Блеск и нищета русской литературы». Вместо спокойного хронологического перечисления авторов и конкретных характеристик произведений Довлатов создает из русских классиков и современников два непримиримых лагеря — публицистов и эстетов — и предлагает даже не портреты, а мгновенные шаржи, где историческая объективность приносится в жертву очевидной личной пристрастности.

Вот довлатовский Тургенев: «Тургенев начал с гениальных „Записок охотника“, затем писал романы „с идеями“ и уже при жизни утратил свою былую славу. Защищая Тургенева, его поклонники любят говорить о выдающихся описаниях природы

у Тургенева, мне же эти описания кажутся плоскими и натуралистичными, они, я думаю, могли бы заинтересовать лишь ботаника или краеведа. Герои Тургенева схематичны, а знаменитые тургеневские женщины вызывают любые чувства, кроме желания с ними познакомиться. В наши дни мне трудно представить себе интеллигента, перечитывающего романы Тургенева без какой-либо практической или академической цели вроде написания ученой диссертации на тему: „Тургенев и русская общественная мысль 60-х годов девятнадцатого столетия“».

А вот — еще хлеще — Лев Толстой: «Лев Толстой, написав десяток гениальных книг, создал затем бесплодное нравственное учение, отрекся от своих произведений, исписал тысячи страниц необычайно скучными баснями для народа и почти дегенеративными трактатами об искусстве, о балете и шекспировской драме и умер в страшных нравственных мучениях на заброшенной железнодорожной станции, покинув семью и не разрешив ни одну из мучивших его проблем».

Было бы скучным педантизмом спрашивать, кто считает критерием качества литературных персонажей желание с ними познакомиться, какие толстовские басни составляют тысячи страниц, почему «каторга, ссылка, солдатчина» Достоевского связаны «с попытками утвердить себя во внехудожественных сферах» (ведь не сам же себя он отправил на каторгу). Это, скорее, литературные анекдоты в духе Хармса (хотя слушатели Довлатова о таком авторе, вероятно, не подозревали).

Зато этим общественно-озабоченным личностям противопоставлены образы «чистого эстета», «художника по преимуществу» Пушкина (как будто он не писал «Вольность» и послания к декабристам) и истинного европейца Чехова, «не запятнавшего себя никакими общественно-политическими выходками и фокусами» (как будто поездка на Сахалин или выход из почетных академиков не были такими фокусами).

Филологическая проза Довлатова привлекательна не объективностью, а как раз личным тоном, язвительностью или юмором — теми же свойствами, которыми отличается его «обычная» проза.

Но в ней есть и другое: точность характеристики, добытая, однако, не рефлексивно-логическим путем, накоплением и анализом материала, а мгновенным афористическим уколом.

Когда-то Довлатова называли *писателем фразы*: «Он и рассказ стремился разместить на каркасе фразы (или фраз), но, бывало, фразой и ограничивался» (*Лемхин М. Прощай, Сергей // Русская мысль. 1990. № 3843. 31 августа. С. 17*).

У Довлатова есть не только фразы-рассказы, но и фразы — критические статьи, даже фразы-диссертации, вполне допускающие логическое развертывание, но замечательно обходящиеся и без этого.

«Рядом с Чеховым даже Толстой кажется провинциалом. Разумеется, гениальным провинциалом. Даже „Крейцера соната“ — провинциальный шедевр.

А теперь вспомним Чехова. Например, его любимую тему: расквашивание маятника супружеской жизни от идиллии к драме. Вроде бы что тут особенного. Для Толстого это мелко. Достоевский не стал бы писать о такой чепухе.

А Чехов сделал на этом мировое имя. Благодаря общечеловеческому ферменту» («Как издаваться на Западе?»).

«Мне кажется, что любой из присутствующих сможет обнаружить в истории литературы своего двойника» («Две литературы или одна?»).

«Нет сомнения, что лучшие из нас по обе стороны железного занавеса рано или поздно встретятся в одной антологий» («From USA with love»).

«Внутренний мир — предпосылка. Литература — изъяснение внутреннего мира. Жанр — способ изъяснения, прием. Талант — потребность в изъяснении. Ремесло — дорога от внутреннего мира к приему» (это уже из «Записных книжек»: целый эстетический трактат, уместившийся в пять коротких фраз).

И, трудно удержаться, — замечательное следующее определение: «Юмор — инверсия жизни. Лучше так: юмор — инверсия здравого смысла. Улыбка разума».

В общем, и филологическая проза Довлатова стоит на тех же двух китах, что и проза обычная: *анекдоте* и *афоризме*.

В недавнем мемуаре о давнем рассказано, как студент Довлатов сдавал зачет (почему-то на другой кафедре, где до сих пор работает автор этого вступления). «На следующий день я на кафедре истории русской литературы принимаю зачет. Студенты уже готовятся, и вдруг в дверях появляется тот самый Довлатов. Не торопясь, с достаточно обреченным видом, он подходит к моему столу и, возвышаясь надо мной, начинает говорить: „Вы знаете, я сейчас должен сдавать вам сербский язык...“ Я понимаю, что сейчас он начнет мне долго и нудно объяснять, что он не был, пропустил, не нашел, не понял. Мне не хотелось, чтобы он это афишировал. Я змеиным шепотом, чтобы никто не обратил внимания, его спросила: „Учебник, по крайней мере, у вас есть?“. Он понял, что нас никто слышать не должен, поэтому ничего не ответил, но сделал мне выразительную гримасу. Тогда я потихоньку достала из сумочки свой учебник, открыла наугад какой-то текст и сказала: „Этот отрывок прочесть и перевести“. А затем опять же шепотом добавила: „Словарь в конце!“ Дальше говорю строго: „Затем ответите на вопросы по грамматике“. И потом опять шепотом: „Первая и вторая палатализация, страницы такие-то и такие-то“. Я понимала, что худо будет, если он пойдет отвечать последним, когда в аудитории, кроме нас, никого не останется. Но Довлатов не тянул до конца, так что были свидетели тому, что он текст перевел и рассказал про первую и вторую палатализации. Я не сомневалась, что он с заданием справится: умный студент на филфаке, располагающий учебником, словарем и двумя часами времени, может прочесть и перевести что угодно» (М. Бершадская // Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. СПб., 2009).

Зачет по критике он тоже сдал успешно. Без учебника, словаря и подсказок.

«О Господи! Какая честь! Какая незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!»

## УРОКИ ЧТЕНИЯ

Был чей-то день рождения, не помню... Собрались писатели, художники, так называемая вторая культурная действительность. Хозяин в шутку предложил:

— Давайте объявим конкурс на лучшее... постановление.

Художник Енин<sup>1</sup> голосом знаменитого диктора Левитана произнес:

— Отмечая шестидесятилетний юбилей Советского государства, ленинский Центральный Комитет выносит постановление: «НЕЛЬЗЯ!..»

Слово взял поэт Антипов:

— Ленинский Центральный Комитет постановляет также: «За успехи в деле многократного награждения товарища Брежнева орденом Ленина — наградить орден Ленина орденом Ленина!»

Высказался и прозаик Машков:

— В целях дальнейшего усиления конспирации группком инакомыслящих постановляет...

Машков дождался полной тишины, оглядел собравшихся и хмуро закончил:

— Именован журнал «Континент» журналом «Контингент»...

Кто-то рассмеялся. Я задумался.

Действительно, конспираторы мы неважные.

---

<sup>1</sup> Фамилии искажены до неузнаваемости. (Авт.)

Звонит приятель:

— У тебя есть... ну, этот... «Дед Архип и Ленька»? Достань. Можешь достать?

— Да зачем тебе? Ты что, Горького перечитываешь?

— Какой ты, ей-богу!.. Да «Архипелаг» мне нужен, «Архипелаг ГУЛАГ», по-нашему — «Архип»...

Ведь знаем, что телефонные разговоры прослушивают. Ведь обыски были у знакомых. Кто-то работы лишился, а кто-то и сидит...

Вот уже третий год я читаю одну нелегальщину. К обычной литературе начисто вкус потерял. Даже Фолкнера не перечитываю. Линда Сноупс, мулы, кукуруза... Замечательно, гениально, но все это так далеко...

Снабжает меня книгами в основном писатель Ефимов. То и дело звоню ему:

— Можно зайти? Долг хочу вернуть...

Наконец Ефимов рассердился:

— Мне тридцать человек ежедневно звонят, долги возвращают... Меня же из-за вас посадят как ростовщика... Придумайте что-нибудь более оригинальное...

В «Континенте» появляется мой рассказ. Об этом знают все. Да я и не скрываю. В борьбе тщеславия с осторожностью побеждает тщеславие.

Заглянул на книжный рынок. Хожу, присматриваюсь. Мелькнула глянцевая обложка «Континента». Так и есть, одиннадцатый номер. Мой. С моим бессмертным творением.

— Сколько? — интересуюсь.

Маклак, оглядываясь, шепчет:

— Тридцать...

Затем, нахально усмехнувшись, добавляет:

— А с автора — вдвойне!..

«Континент» в Ленинграде популярен необычайно. Любым свиданием, любым мероприятием, любой культурно-алкогольной идеей готов пренебречь достойный человек

ради свежего номера. Хотя бы до утра, хотя бы на час, хотя бы вот здесь перелистать...

Вспоминается несколько занятных историй. И даже в каком-то смысле показательных.

«Континент» стал печатать записки Лосева. В одной из глав был упомянут редактор детского журнала Сахарнов, функционер и приспособленец. (В Ленинграде шутили: «Почти однофамилец, „НО“ мешает...») В записках говорится, как редактор журнала наедине с Лосевым перевозносил Солженицына. Печатая, естественно, в своем журнале разных там Никольских и Козловых...

Как-то захожу в редакцию. Навстречу Сахарнов.

— Привет, — говорит, — есть разговор.

Заходим к нему, садимся.

— «Континент», где обо мне написано, читали?

— Нет, — солгал я.

— Читали, читали... Я же знаю... В коридоре Пожидаевой рассказывали...

Редактор вздохнул, снял трубку, положил на кучу гранок.

— Как вы думаете, может у нас что-то измениться?

— Где, в редакции?

— Да не в редакции, а в государстве.

— Вряд ли, — уныло сказал я.

Тут же опомнился и добавил с большим подъемом:

— Никогда.

— А я не исключаю, — задумчиво произнес Сахарнов, — не исключаю... Экономика гибнет, сельское хозяйство загнивает... Не исключаю, не исключаю... Я этот номер «Континента» буду хранить... Я у Лосева справку возьму...

— Какую справку?

— Что я восхищался Солженицыным. Вы полагаете, не даст мне Лосев такой справки? Даст. Он честный, непременно даст. И буду я по-прежнему редактировать журнал. А вы — короткими рецензиями перебиваться, — закончил Сахарнов.

Помню, меня его цинизм даже развеселил.

Был у меня знакомый юрист. В последние годы — социолог. Выгнали из коллегии адвокатов. Кого-то не того рвался защищать. Хороший человек, однако пьющий. Назовем его Григоровичем.

Взял у меня однажды Григорович номер «Континента».

— Домой, — спрашиваю, — едешь?

— Домой, прямым ходом, не беспокойся...

— Смотри, поосторожнее...

По дороге Григорович встретил знакомого. Заглянули в рюмочную — понравилось. Потом зашли в шашлычную. Потом на лавочке в сквере расположились...

Очнулся Григорович в вытрезвителе. Состояние — как будто проглотил ондатровую шапку. Портфель отсутствует. А в портфеле — номер «Континента»...

Слышит: «Григорович, на выход!»

Выходит из камеры. Небольшой зал. Портрет Дзержинского, естественно. За столом капитан в форме. Что-то перелистывает. Батюшки, «Континент» перелистывает...

Григорович испугался. Стоит в одних трусах...

— Присаживайтесь, — говорит капитан.

Григорович повиновался. Сиденье было холодное...

— Давайте оформляться, Григорович. Получите одежду, документы... Шесть рублей с мелочью... Портфель... А журнальчик...

— Книга не моя, — перебил Григорович.

— Да ваша, ваша, — зашептал капитан, — из вашего портфеля...

— Провокация, — тихо выкрикнул обнаженный социолог.

— Слушайте, бросьте! — обиделся капитан. — Я же по-человечески говорю. Журнальчик дочитаю и отдам. Уж больно интересно. А главное — все правда, как есть... Все натурально изложено... В газете писали: «антисоветский листок...» Разве ж это листок? И бумага хорошая...

— Там нет плохой бумаги, — сказал Григорович, — откуда ей взяться? Зачем?

— Действительно, — поддакнул капитан, — действительно... Значит, можно оставить денька на три? Хотите, я вас так отпущу? Без штрафа, без ничего?

— Хочу, — уверенно произнес Григорович.

— А журнал верну, не беспокойтесь.

— Журнал не мой.

— Да как же не ваш?!

— Не мой. Моего друга...

— Так я же верну, послезавтра верну...

— Слово офицера?

— При чем тут — офицера, не офицера... Сказал, верну, значит, верну. И сынок мой интересуется. Ты, говорит, батя, конфискуй чего-нибудь поинтереснее... Солженицына там или еще чего... Короче, запиши мой телефон. А я твой запишу... Что, нет телефона? Можно поговорить с одним человеком. Я поговорю. И вообще, если будешь под этим делом и начнут тебя прихватывать, говори: «Везите к Лапину на улицу Чкалова!» А уж мы тут разберемся. Ну, до скорого...

Так они и дружат. Случай, конечно, нетипичный. Но подлинный...

Дело было в шестидесятом году.

Жил в Ленинграде талантливый писатель Успенский. Не Глеб и не Лев, а Кирилл Владимирович. И жил в Ленинграде талантливый поэт Горбовский. Его как раз звали Глебом. Что, впрочем, несущественно...

Был тогда Горбовский мятежником, хулиганом и забудьгой.

А Кирилл Владимирович — очернителем советской действительности. В прозе и устно. (Над столом его висел транспарант: «Осторожнее. В этом доме аукнется — в Большом доме откликнется!»)

Однажды Горбовский попросил у Кирилла Владимировича машинку. Отпечатать поэму с жизнеутверждающим названием «Морг».

Успенский машинку дал. Неделя проходит, другая. И тут Кирилла Владимировича арестовывают по семидесятой. И дают ему пять строгого в разгар либерализма.

Отсидел, вышел. Как-то встречает Горбовского:

— Глеб, я недавно освободился. Кое-что пишу. Верни машинку.

— Кирилл! — восклицает Горбовский. — Плюнь мне в рожу! Пропил я твою машинку! Все пропил! Детские счета пропил! Обои пропил! Ободрал и пропил, не веришь?!

— Верю, — сказал Успенский, — тогда отдай деньги. А то я в стесненных обстоятельствах.

— Кирилл! Ты мне веришь! Ты мне единственный веришь! Дай я тебя поцелую! Хочешь, на колени рухну?!

— Глеб, отдай деньги, — сказал Успенский.

— Отдам! Все отдам! Хочешь — возьми мои единственные брюки! Хочешь — последнюю рубаху! А главное — плюнь в меня!..

Прошло десять лет. Горбовский разбогател, обрюзг. Благоразумно ограничил свой талант до уровня явных литературных способностей. Стал, что называется, поэтом-текстовиком. Штатпует эстрадные песни.

Как-то раз Успенский позвонил ему и говорит:

— Глеб! Раньше ты был нищим. Сейчас ты богач. И к тому же не пьешь. У тебя полкуса авторских ежемесячно. Верни деньги за машинку. Хотя бы рублей сто.

— Верну, — хмуро сказал Горбовский.

Прошло еще два года. Терпению наступил конец. Успенский снял трубку и отчеканил:

— Глеб! У меня в архиве около двухсот твоих ранних стихотворений. Среди них есть весьма талантливые, дерзкие и, мягко говоря, аполитичные. Не привезешь деньги —